



Александр Кормашов
ЗАРОСШИЕ

Александр Кормашов

Заросшие

«Издательские решения»

Кормашов А.

Заросшие / А. Кормашов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743852-4

Лес больше никогда не будет таким, каким он был прежде. Мир больше никогда не будет таким, каким он был раньше. Двое туристов и четверо лесников в самом центре природного катаклизма.

ISBN 978-5-44-743852-4

© Кормашов А.
© Издательские решения

Заросшие

Александр Кормашов

© Александр Кормашов, 2017

ISBN 978-5-4474-3852-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Низкий, глухого турбинного рева звук возник откуда-то справа, пронесся над левым ухом и начал резать круги вокруг головы. Тело прoderнуло кислой гальванической судорогой. Звук оборвался сзади, на шее. «Раз-и... два-и...» – прошли положенные секунды, и шею будто проткнули шилом. «Три-и... четыре и...» – рука шлепнула чуть пониже затылка и загребла добычу. Здоровенный, размером с шершня, паут гремел внутри кулака.

Градья поднял вверх удочку и подхватил леску. Он стоял посреди неширокой, а здесь, на каменном перекате, еще и мелкой лесной речушки в высоких охотничьих сапогах, грубо и жестко трущих в промежности, отчего так хотелось внутри этих твердых резиновых раструбов встать на цыпочки.

Вода бурлила выше колен, ноги немели от родникового холода, но выше пояса тело Градьки лоснилось на солнце красной и потной кожей. От укусов паутов и слепней на ней оставались плотные белые желваки, будто под кожу загоняли монету.

Паут сердито крутил лобастую зеленою головой, нервно подхватывал под себя брюшко, раздраженно рокотал крыльями, но Градья уже нацепил его на крючок, плюнул, чтоб тот не носился по воздуху над поплавком, и мягко забросил снасть.

Что там могут настрелять мужики – неизвестно. Последних два дня они ели зайца, здоровенного русака-перестарка, с дуру вымахнувшего на вырубку прямо у них под носом. Кусок зайчатины и сейчас лежал у Градьки в кармане – можно было жевать, но откусить было невозможно – глотай куском, как собака. Как собаки и ели. И злы были как собаки. Больше всего, конечно, на тех, по чьей милости оставались в лесу. Без вина, без еды, без работы.

Хариус долбанул так резко, что Градья едва успел выбросить руку и смягчить удар рыбины. Тонкий сосновый кончик удилица затрепал, но выдержал и на этот раз. Хариус улетел на берег, в траву.

Градья переступил ногами. Мелкий, едва ощутимый озноб неожиданно проскочил по телу, в висках что-то затрепетало, тонко и перепончато. Тут же разряд какого-то электричества молнией пролетел по спинному мозгу и ударил под мозжечок. Голову затрясло, во рту стало кисло, в глазах темно – лишь мелькали и щелкали белые точки звезд. Градья хватался руками за воздух, но сумел зачерпнуть рукой воду и поэтому сохранил равновесие. Весь оглушенный внутренним взрывом, весь одеревенелый, прoderнутый насквозь единой – общего мозжечкового корня – судорогой, ветвисто доставшей до самых последних мельчайших мускулов, он так и стоял посреди бурлящего переката, в камнях, боясь шевельнуться и чувствуя только, как новым взрывчатым холодом наполняются ноги, и новая масса огня собирается на плечах.

И все равно он слышал сердитый крик, а потом и свистящий шум. Успел обернуться – отметить выводок молодых сеголетних уток, низко, над самой водой, несущихся ему в лоб откуда-то с верховьев реки.

Но утки, эти относились хотя бы к этому миру.

Черная надувная лодка, плеск весел, человек, сидящий к нему спиной, но сейчас обернувшийся, и другой человек, чье лицо нависало сбоку над просевшим резиновым бортом...

Этих он попросту не постиг. Он смотрел на людей, он видел мужчину и видел женщину, он видел, как шевелятся губы, но не слышал ни слова.

Мужчина отработал веслом назад, развернул лодку и направил ее под берег, под сухую ольху, к земляному приступку с примятой травой.

Наконец в Градьке тоже что-то спасительно разомкнулось, он смотал леску, выбросил удочку повыше в траву, затем сделал несколько длинных, в воде, шагов, оттолкнул чужую потустороннюю лодку, удивившись при этом реальности черной резины, и, ухватившись за хрупкий ольховый сук, вытащил непослушное тело на берег. Несколько секунд он просто дышал, затем стянул с дерева свой старый казенный лесхозовский китель с дубовыми листьями на петлицах, нашел рукава. Дрожь теперь ушла глубоко в тело и продолжала методично колотить изнутри. Голова наливалась сырой и горячей тяжестью.

– ... нет. Ну, что же это такое! Так вы можете говорить или нет? – будто издалека, будто из-за леса послышался женский голос.

В горле Градьки что-то хрипло отозвалось, но сам себя он расслышал не сразу:

– ... Я-то?

– Слава богу. Вы кто?

Градька долго возился с пуговицей на кителе. При ответе на этот вопрос он бы и при иных обстоятельствах надолго мог замолчать.

– Сами-то?.. – наконец, произнес он куда-то вбок.

– Мы просто плыли, а вы нам мешаете, – как-то очень уж громко, с обидой, произнесла женщина.

Градька пригляделся: еще молодая.

– Положим, Дина, он теперь уже не мешает, – поправил ее мужчина. На нем была старая туристская ветровка, старая туристская панама, он и весь вообще казался очень старым туристом. Сухие впавшие щеки клоками затягивались пегой щетиной, лоб морщился, нос бугрился, глаза убегали вглубь загорелого черепа. – А вы не подскажите, нам далеко еще до деревни? – лишь голос его звучал вечно молодо и красиво, как у певца с гитарой.

– Не. Нету, – Градька покачал головой и уже начал собирать в траве рыбу, как вдруг обернулся на странный звук: будто с шумом откуда-то вырвался воздух, но не из лодки.

– Ф-ф-ф... то есть?! – возмущенно ахнула девушка.

Градька снова покачал головой.

– Нету здесь никакой деревни. Лишь Селение, да в нем не живут.

– Но вот здесь же указано... – Мужчина разложил на колене карту. – Это Пáнчуга, мы вот здесь, это Лóпога, мы вот тут, и вот тут указано...

– Это Панчуга, – проговорил Градька и начал спускаться к лодке. – Это Панчуга, а Лопога не здесь.

Женщина сполоснула руку и провела ладонью по лбу. Совсем еще молодая. Девушка.

На старой военной карте, прозванной меж рыбаками-охотниками «генштабовской», Градька сразу нашел свою реку Панчугу, что спускалась отсюда на юг, загибалась к западу, а оттуда опять возвращалась на север. Весь район сидел на этом щучьем крючке, как лягушка с поджатými задними лапами.

– Вот ваша Лопога, – прочертил Градька ногтем по карте. Исток Лопоги и исток Пáнчуги находились рядом, недалеко от железной дороги, только Лопога сразу отворачивала на запад. – А вот Панчуга. Вы чего? Теперь вам плыть через весь район.

На лодке долго молчали. Потом мужчина вздохнул.

– Мы не думали... Понимаете, мы заходили по компасу. От железной дороги... Понимаете? – он опять уставился в карту, – А вот здесь... здесь отмечено «избы», это что?

– Так это и есть Селение, а я вам о чем?

Договорить ему не дали. Девушка вдруг вскочила, попыталась вскочить, но лишь сильно качнула лодку и закричала в голос:

– Пусть селение, пусть деревня! Я уже не могу, я устала! Максим!

– погоди, Дина, – сказал мужчина.

– Я не могу больше «погоди»! Я устала, я хочу домой! Я хочу кефира, я хочу принять ванну. Я воняю, как эта чертова рыба! Ты посмотри на мои руки, не кожа, а чешуя!

– Пожалуй, мы сперва успокоимся, – строго взглянул на нее мужчина и действительно успокоил взглядом. Затем он вновь обратился к Градьке: – А вы сами откуда?

– Дак мы-то... Дак мы из Селения. Лесники мы, делянки тут нарезали. Делянки приехали нарезать. Да только из леспромхоза пока никого не дождемся. Дак в Селении и живем...

– Дак нам-то какая разница, селение или не селение! – вновь закричала девушка.

Градька не знал, как им объяснить. Любой в районе поймет, что Селение – это селение, и от века жили в нем «селяки», беглые рекруты, каторжане, раскольники, те никогда не «драли новину», не сводили вокруг леса. А деревня – это деревня. Кстати, «деревней» тут еще по старинке называют и пашню. Сейчас Селение – это цепь невысоких, заросших старой ольхой курганов, останков двенадцати подворий, что когда-то стояли по оба берега Панчуги. Под крышей осталась всего лишь одна изба, да и то потому, что в ней летом, бывало, жили геологи, а зимой останавливались охотники.

– Ну, так что же нам, блин, прикажете делать?! – девушка кричала теперь и на Градьку.

– Ну, дак это... – смутился тот. – Дак плывите.

– Но вы даже не знаете, мы столько уже плывем! Это же не река, это просто кишка с кишечной непроходимостью! Мы уже двадцать... мы двести раз эту лодку заклеивали! А бобры! Это просто изверги! Как только воды побольше, они тут же ставят плотину! – Она повернулась к мужчине. – Я честно устала, Максим Валерьянович, я просто и совершенно устала! Я хочу к людям! Блин, и еще впереди никакой деревни!

– Значит, Селение... – не слушал ее мужчина, берясь за весло. – И отсюда не далеко?

– Рядом, если пешком, – сказал Градька.

Лодка ушла в перекаат, пронеслась над камнями и омутком пониже его и скрылась за ивняком.

Градька подтянул в себе удочку, обломил кончик, намотал леску, воткнул крючок, положил снасть в карман, подхватил рыбу и резко поднялся на ноги. И опять. Ни с чего. Голову стремительно обнесло, кругом помчались земля и небо, поршнем под подбородок ударила тошнота. Он медленно разогнулся, перестоял самое сильное нездоровье, сделал шаг и два. Проломился через багульник, вошел в лес и по сухому овражку пробрался до просеки. Ноги спотыкались о каждую кочку, внутри отсыревших сапог без конца чавкало, хрюкало, и ширкали отворотами голенища, точно точили нож.

Градька даже не чувствовал, что губы его беспрестанно шевелятся, что они всю дорогу проговаривают по пунктам разговор на реке. Какая-то часть сознания вела этот разговор автономно, разделив себя надвое, потом натрое, по ролям, но при этом отдельные реплики Градьки становились все лучше и лучше, красивее, умнее, литературнее, пока, наконец, вся встреча не была переиграна заново. И тогда уже – и только тогда! – он с каким-то наивным удивлением осознал, что, в общем-то, встречи не было. Не было ничего, ни лодки, ни мужчины, ни женщины, а только ледяная вода и горячее солнце, и разряд электричества между ними, и более ничего. Только бред и более ничего.

Главное для него сейчас, это просто дойти до Селения, а оттуда доехать на тракторе до лесничества, а оттуда на автобусе до лесхоза, там взять расчет, забрать трудовую книжку, затем на аэродром, и все. Да, да, все.

Нет, это бред, это тоже бред, потому что ему уже давно некуда и незачем возвращаться.

Не бредом оставалась работа. Простая, понятная, с понятными и простыми проблемами. Проблем было сразу несколько.

Первая – это чужие, не их района, лесозаготовители. От них никак не придет машина с Кругловым, начальником производственно-технического отдела, принимать нарезанные делянки. Будь этот Круглов из своего леспромхоза... Но свой в районе давно закрылся – однажды вырубив все, до чего сумел дотянуться. Не сумел дотянуться только досюда: мешало болото, большое моховое болото, местами затянутое травой, сухолесьем, клюквенное, местами – совсем сырое, с озерцами и прорвами. С той стороны болота вековые боры были уже сведены напрочь, но по эту сторону – реликтовая сосна росла еще частоколом, острогом, крепостью. К ней, разумеется, подступали давно, но болото съедало все выбитые из крепости бревна. Оно не только в дачу в добрую половину хлыстов – на поддержание лежневов и гатей – но и делало невозможным сплав. А теперь этот бор, эта крепость получала неожиданный удар с тыла, от железной дороги, с морозами надо было ждать лесорубов, но пока лесники не могли дожидаться Круглова.

Пока хватало батарей рации, помлесничего-Геня связывался с чужим леспромхозом почти каждый день. «Да-да», отвечали ему, «Круглов уже выехал». «Нет-нет, выезжает». «Он выедет завтра, ждите». «Да-да, выехал, точно выехал. Утром». «Выехали еще вчера». «Как?! Все еще не приехал? Ну, приедут. Ждите». Батареи рации сели, а Круглова – как лешие разорвали.

Ожидая Круглова, они вторую неделю торчали в лесу без дела. Ко всем напастям и трактор, на котором они сюда добирались, оступился гусеницей с лежневки и теперь беспомощно оседал в болото...

Солнце подкараулило Градьку на выходе из просеки. Он зажмурился и нечаянно встряхнул головой. В ней будто вспыхнула электрическая дуга и тут же погасла. Когда он открыл, наконец, глаза, то увидел одну темноту. Потом в ней начали проступать контуры какого-то негатива. К счастью, картинка была узнаваемой. Вон очертания северной избы, большой, на высоком подклете, четыре пустоглазых окна по фасаду, а над ними, на коньке крыши, покренившийся охлупень. Вон слева за домом в кустах замечается то, что осталось от вертолета геологов, когда-то зацепившегося за дерево и упавшего на бок. Вон справа возле тропинки, идущей от крыльца до реки, видны три серых валуна с положенными на них широкими пологими плахами. Посередине костер. У костра люди. Помлесничего-Геня, тракторист Севолодко и Саня, второй лесник. И, слава Богу, Круглов.

Градька даже не смог обрадоваться, когда скорей догадался, чем рассмотрел поодаль трехосный «Зил».

«А гли-ко, вот и Градька с уловом!» Это тракторист Севолодко проступил негативным контуром над землей, протянув руку к кукану с рыбой. «Эко! Богато, паря, богато». Взамен он протянул кружку. «На-ко, прими штрафную. Ты чё, ёчи-мачи, пролил? Пролит, ёчи-мачи!»

– Не устал еще спать? Второй дён пластом, пора бы уже прочухаться. На-ко, на, опять тебе велено проглотить. Открывай рот-от!

Градька разлепил веки и увидел под носом какие-то капсулы.

– Бери, ёчи-мачи, ну-ко.

Сухими кожаными губами Градька взял одну, та прилипла к изнанке губы, и потребовалось немало труда, чтобы перекинуть ее через зубы. Вторую капсулу он положил на язык ловчее. Третьим был Севолодков палец, тут же подменивший себя краем холодной кружки. Вода с надсадой, рывками, толкала капсулы вниз.

– Ну-ко, давай фуфайку поправлю, да ты посиди, посиди. Ну, ладно, приляжь.

Градька снова прилег на нары. В зимовке было еще светло. Три низких, заросших травой по самые переплеты окна давали немного света. Красные вечерние лучи солнца проскакивали над лавкой, проныривали под столом, и где-то под нарами, в трухе елового лапника еще долго

толклись, копошились, плясали, как мошкара. Из-за этой подсветки снизу широкие, будто отодранные от шеи, нижние Севолодковы скулы казалась совсем огромными.

Всеволод всегда ходил на только выдернутого из воды ерша – пучеглазого и с растопыренными жабрами. Впрочем, ершом не образно, а по существу – нелюбимой рыбой, вредной, колючей и склизкой, он становился, только приняв на грудь. Дрянней и заносчивей старикашки тогда не видывал свет, мужики плевались и отходили. Но трезвый он был человек хороший, хотя тоже шершав порой на язык. Не шибко здоровый, он тихонько тянул до пенсии на своем старом тракторе.

– Вот похлебай, я тут смороды тебе натомил. На солнце томил, лучше печки. Экова севогод сморода. Над рекой такое гроздьё висит, ёчи-мачи, винограду не надо. Да оно и понятно, сухмень какая все лето, в лесу все пожгло, но у воды-то смородке – милое дело.

Градька свесился с нар, отхаркался, сплюнул на пол.

– Встаю, Севолод. Встаю. С утра еще хотел встать, дак опять провалился...

– Ну, дак оно чего ж. Это ж дело худое, когда башку распекает, а ноги стынут. Да куда теперь-то вставать? Уж спи.

Градька снова откинулся на спину и закрыл глаза. Сон был рядом.

– Севолод, ты здесь?

– А?

– Круглов-то полянки принял? А мужики где? Трактор-то вытащили? Чего молчишь, Севолод?

Все это Градька говорил через паузы, давая Всеволоду ответить, но тот сначала долго молчал, потом расстегнул рукав, закатал, и дряблым, сухим стариковским локтем, по-женски, пощупал у Градьки лоб.

– Градислав, – растерянно проговорил он. – Ты это чего? Жар-от вроде ушел. Ты чего такое тут говоришь-то? Когда ведь это приехал Круглов-от! Не приехал он. По сюю пору все не приехал! И Саня с Геней не возвращались. Как ты на реку ушел, и они через час ушли. Сказали, пойдут в сто девятый квартал, смотреть Круглова, а то чего без дела сидеть. Да вот и не возвращаются второй дён. Я даже не знал, чего с вами делать. Не то за ними бежать, не то тебя обихаживать.

Севолодко спустил рукав до конца и начал ловить на латаной ветхой манжете мелкую прыгучую пуговку.

– Граня, у нас ведь еще беда. Туристов каких-то к нам принесло. Только нелюдские какие-то. В избу спать не пошли, спят в палатке, и чай на спирту готовят. Спирт это, говорят. А какой спирт, когда весь чистый сахар! Только не сладкий. Я в воде хотел его растворить, дак отняли. Не людские же, говорю. Туристы... А хайрузов-то они твоих сберегли, закоптили. Ужо сейчас принесу. Скусные. Сам-от он мужик ничего, живой, а девка какая-то совсем кислая. Мужик, он как тебя посмотрел, дак сразу пилюлю в тебя засунул. Не помнишь? Крыз в тебе, говорит. А что за крыз, не знаю. Ладно не крыса.

Градька облизал губы.

– На-ко, попей еще, – подхватился со своей смородою Всеволод. Но Градька лишь помотал головой. Попросил рассказать о туристах еще.

– А чего еще? Мужика-то Максимом звать, а отчество у него, я забыл, как в аптеке, язык ломаешь. Ходит все, это, по берегу, смотрит. И на ту сторону тоже перебродил, пройдет по дороге-то с километр, и назад, я гляжу, бежит. И опять ходит-смотрит, где избы ране стояли. Котора тут была церква, у меня спрашивал. А то я знаю, котора? Котора-то. Заросло все, не разберешь. А девка...

Всеволод внезапно замолк и прислушался, повернув голову к окну.

– Не слышишь, Градь? Никак Вермут брешет. Ужо-ко пойду. Может, Геня с Саней пришли.

Он поставил на стол пол-литровую банку с томленной смородой, протер рукавом окно, пустив в помещение больше света, и вышел, прикрыв за собою дверь.

Пощербленная и облупленная глинобитная печь косилась на Градьку черным холодным устьем. Между печью и нарами громоздилась на кирпичах поставленная на попа железная бочка с дырявой дверцей, жестяная труба от нее уходила в печную выюшку.

Больше в зимовке ничего не было. Нет. Был камень. На бочке всегда лежал здоровенный камень, кремень, величиной и формой разительно напоминающий человеческий мозг. Порой его даже хотелось примерить – как головной убор. Внутриголовной.

Никто не знал, откуда был этот камень. Может, геологи оставили как курьез. А, может, кто-то нашел в избе. Может, он еще сто-двести лет уже служил по хозяйству и пригнетал в кадушке грибы?

Камень принадлежал избе. В нем было что-то от талисмана. В то время как прочие избы падали, разрушались, этот сруб-пятистенник, ничем от других не отличный, ничуть не крепче других, стоял как повенчанный с вечностью.

Как лесники, геологи и охотники ожидали увидеть здесь, на взгорке по-над рекой, одинокую среди леса избу, так в зимовке ее, на поставленной на-попá бочке-печке, их всегда ждал и этот бугристый, продернутый желтой и розовой стекловидностью холодный кварцево-халцедоновой мозг.

Почему-то сейчас, на мгновения просыпаясь, Градька сразу видел камень перед собой и от этого весь внутренне вздрагивал. Никогда еще собственный мозг не казался ему вот такой же застывшей, внутренне напряженной, кремневидной материей. Стукнуть обухом – разлетится миллионами искр.

Он проснулся еще раз совсем уже ночью, когда мужики, помлесничего-Геня, Саня и Севолодко, пришли от костра, зажгли лампу, заправленную соляркой, и долго располагались на нарах. Потом потушили огонь. Окончательно он уснул под долгий, суливший мало приятного разговор.

На берегу стояла оранжевая палатка, рядом лежала лодка, перевернутая вверх дном, дряблая, слутая. Вермут несколько раз подступался к палатке, но ему мешали растяжки, тогда он поднял заднюю ногу на лодку, обрызгал, потом вернулся и лег у костра. Ухо его ходило туда-сюда как локатор, откликаясь на каждый бульк висевшего над огнем ведра.

На плахах, положенных на три валуна, сидели все четверо лесников и Максим-турист. Лицо его было серое, пепельно-серое, даже несмотря на загар. Вероятно, тоже не спал всю ночь.

Градьку еще потряхивало, временами прошибало испариной, но едва занялся рассвет, непривычно желтый, безоблачный и безветренный, он тоже на босу ногу обул сапоги и выбрался вслед за мужиками. И уже насмотрелся на мужиков. Хотя первый шок еще не прошел. Ощущение бреда сменилось каким-то посасывающим чувством тревоги, еще не страха, но уже опасения за рассудок.

Ни помлесничего-Геня, ни Саня в жизни не носили бород. Понятное дело, в лесу не брились, бывало, что сильно зарастали щетиной, но чтобы отрастить бороду? А сейчас они были оба просто чудовищно бородаты. Словно отсутствовали не сутки, а год. Да и вся их одежда на них имела отчаянно заношенный вид: рукава обтерхались, кирзовые сапоги на ногах Сани стали почти что белыми и пошли глубоким трещинами по оголовкам. Геня сидел вообще без сапог – в самодельных бахилах, сделанных из рукавов старой куртки.

Саня и Геня всегда были очень разными по обличью, Саня крупный, в матерых годах мужик, Геня – совсем молодой, недавно из лесотехникума, но сейчас они оба походили не только на лесных братьев, но даже казались в чем-то братьями, и чуть не родными, лишь у Сани глаза были мутно-карие, выцветающие, у пом-же-лесничего-Гени – желто-коричневые, цвета молодой сосновой коры. Черные их волосы и такие же бороды представлялись одинаково

неухоженными, волосы с верхней губы свисали до подбородка и мешали – от непривычки – и говорить, и есть. Не вытерпев, наконец, Саня взял нож и попробовал их обрезать.

– Погодите, Александр, погодите, не мучайтесь, я сейчас... Я их и вам, Геннадий, сейчас подстригу. У нас есть ножницы. Простите, Всеволод, вы не привстанете?

Градья только водил вокруг себя головой. Культурность Максима была дичее, чем даже эти, дикие по своей непонятности бороды. Максим, однако, перешагнул через плаху, дошел до палатки, раздернул полог и до половины пролез вовнутрь. Внутри раздались недовольные вздохи, приглушенное: «спи-спи», потом «ты не видела?», потом «где тут у тебя?», и наконец зад Максима подался обратно.

Вместо ножниц он принес хрупкие маникюрные ножницы. Тем не менее, волосы вокруг удалось немного подрезать, и мужики, хотя и не стали до конца узнаваемыми, различались теперь получше: зубы у Сани блеснули крупные, лошадиные, а у Гени, напротив, мелкие, острые, и к тому же заваленные вовнутрь, как у щуки.

Саня было попробовал постричь даже ногти, но при первом же сдавливании ножницы разлетелись на две половинки.

– Эх, ноженки, мать твою в коромысло, – расстроился он и посмотрел на Максима. – Вот топеря баба твоя расстроится. – Он попробовал было скрепить половинки, но Максим вежливо их отобрал. Ногти так и остались где-то обломанными, где-то обкусанными.

– Вешай, нет? – продолжал Саня, повернувшись теперь уже к Градье. – Я как глянул на свои руки, так не сразу и понял, что это ногти висят. Страсть-то экая. Длинные, белые, загибаются. Мать Христоносица береги! Правда, Гень?

– Ну. Да если бы на руках только, еще бы куда ни шло, – невесело откликнулся помлещничего. – Но на ногах ведь. А мы еще с ним бежали, как дураки. Ногти, они в сапогах отросли, загнулись и в мясо... Едва с ним потом разулись. Саня-то как-то сообразил, сразу ножиком вылушил. А со мною теперь...

Геня запрятал ноги под плаху и влажно моргнул глазами. Все отвернулись. Градья уже был наслышан, как вчера они шли весь день босиком, на пятках, оторвав от своих пиджаков рукава и надев их на ноги.

Все кроме Градьяки, на эти дела уже много наудивлялись, начертыхались прошедшей ночью, но он еще вяло соображал – переспрашивал и вновь переспрашивал.

Слово за слово, но в итоге мужики повторили свою историю заново, в два опять разволнованных голоса.

«Ёчи-мачи» так и выстреливали из Севолодки. Максим костяшкой большого пальца водил по гармошке лба. Даже Вермут, и тот беспокойно вилял хвостом, так как Саня время от времени охал и повторял:

– Если б не Верный, не вышли бы! Если б не Верный, не вышли бы!

Верный (Вермут промеж лесников) имел одним из родителей лайку: такая же сильная удлиненная шея, пушистый, колечком, хвост, однако, размером он был крупнее, поджарый, но уши стояли плохо, больше болтались тряпицами. Он плохо лаял на белку, не лучше ходил по следу, но он был молод, игрив, всеобщий любимец и вор.

Вермут занервничал еще в сто девятом квартале, за дальнюю вырубкой, что лежала на новой лесовозной дороге, той самой, что вела к лесопункту, от которого должен был ехать Круглов.

Вермут сначала стал отставать, потом, поджимая хвост и принюхиваясь, остановился, потом побежал назад, потом просто лег на дорогу и заснул.

– Верный! Я твою!.. – прошелся по матери Вермута Саня, когда надоело свистеть.

В сердцах он пошел назад и уже дошел до собаки, когда увидел первую елочку. Ростом с четверть, всем видом – трехлетний росток-самосев, она росла прямо на колее, пробиваясь из трещины на засохшей глине, что еще сохраняла весенний следы какого-то вездеходовского

протектора. Не придавая тому значения, Саня поднял Вермута за ухо и, наподдав под зад, послал по дороге вперед. Березка повыше встретилась метрах в пяти, а там еще одна елочка-самосев... Вермут вдруг заметался и, не взирая на ругань и мат, увернулся от очередного пинка и рванул назад.

Помлесничего-Геня тем временем уходил вперед, сам замечая какую-то необычность. Дорога старела. Ее стремительно покрывали еловая хвоя, сухой осиновый лист, колеи исчезали, на них пробивалась лесная трава, брусничник и низенький мох, похожий на зеленую плесень. Но лишь когда впереди возник плотный подлесок, сначала по пояс, потом высотой в рост человека, дальнейшее продвижение было прекращено. Дороги практически не было, вперед уходила уже не дорога, а будто широкая заросшая просека, и было прекрасно видно, что дальше она зарастала все гуще и выше.

Остановившись, помлесничего-Геня и Саня присели на корточки, с ружьями на коленях, их руки слегка подрагивали, лица влажно блестели.

«Что?»

«Что?»

«Что?» – лишь вскидывали они на друга другу небритые подбородки, не зная, как назвать то, чего никогда не может и не должно быть.

В лесу, по обе стороны от заросшей дороги, беспрестанно что-то шуршало, вздыхало и всхлипывало. Лес был живой и звучал. Но не птичьими голосами, не по-весеннему. И не по-осеннему тоже, когда сперва трубно, а потом с деревянным стуком рогов выясняют отношения лоси, и не по-зимнему – с волчьим воем на вырубках. Лес жил аритмией всех этих сезонных циклов, где, если и говорила жизнь, то все забивалось звуками умирания – скрипами, стонами, отпаданием веток и паденьем стволов. Отвесно, мелким бурым снежком, на подстилку сыпалась хвоя, опускались мертвые листья. С обеих сторон, на дорогу, из-под полога леса тянуло сырыми и теплыми удушливо-кислыми запахами, миазмами гнилости, прелости, разложения. И на гребне всех этих запахов летел совершенно непереносимый, пугающе сильный, терпкий дух жизни. Словно какие-то катакомбные, напрочь забытые и потерянные цивилизацией люди в подземных своих жилищах используют трупы своих покойников в качестве грядок для самых опьяняющих злаков...

Вверху что-то зашуршало, запрыгало вниз по еловым лапам. Геня извернулся и с живота, дулетом, ударил на звук. Толстая пересохшая растопыренная еловая шишка стукнулась рядом с его ногой. Секунду Геня косился на шишку, кривясь и жмурясь – будто на тысячерогую ядовитую каракатицу, готовую прыгнуть ему в лицо, потом ударил прикладом ружья, и еще раз, и снова, пока не размолотил ее в прах.

«Все-все-все, пшли-пшли-пшли отсюда», зачастил он прерывистым голосом, тяжело дыша и оглядываясь. «Чего? Смешно, да? Вставай-пошли! Дурнота это, слышь, дурнота! Слышь, пошли!» Не переставая оглядываться, сломил, взводя, бескурковку, перезарядил и защелкнул ружье. «Чего лыбишься, чего лыбишься? Уходить надо, говорю».

Саня еще улыбался, когда вдруг в глазах его что-то мелькнуло и замерло, пристекленело. Улыбка сбегала вниз по лицу быстрее, чем отпускали ее лицевые мышцы, и вдруг разом пропала – на лязгнувшем, как затвор, кадыке.

«Кто-то будто кричал?..» – Саня стал медленно подниматься с корточек.

«Что? Кто?» – шепотом повторил Геня.

«Как будто кто, говорю, кричал...»

Оба прислушались. Было слышно, как в той стороне, откуда они пришли, безостановочно лает Вермут. То хрипло, осатанело, взახлеб – как по зверю, то с нотками скулежа и визга.

«Не, вон там, впереди».

Саня кивнул на затянутую подлеском дорогу. «Криком кричали. Как человек какой. Ладно, пойду-ко гляну. Ты это... иди, что ли, к Верному. Господи-Иисусе-Христе-Пресвя-

тая-Богородица-и-Святые-угодники-заступитесь, а не то сохраните деток!..» – единым махом перекрестился он, и, подняв ружье, как в воду, ступил в подлесок.

Помлесничего-Геня какое-то время медлил, переминаясь, потом с тоскою глянул в сторону Вермута, плюнул в сердцах и пошел следом.

С полсотни шагов они продирались сквозь плотную цепкую заросль, покуда ельник не вырос уже до плеч и по нему приходилось плыть, отгребая одной рукой от лица колючие лапы, другою удерживая над головой ружье. Но вскоре пришлось нырнуть и пробиваться низом, проламываясь вперед через жесткую и неломкую паутину нижних бурых, отсыхающих веток. Здесь они оба полностью потеряли взятое направление и на внезапный просвет впереди шли тараном, на четвереньках, как два кабана.

«Олухи мы», – не успев отдышаться, весь обливаясь ручьями пота, помлесничего-Геня начал вытряхивать из-за ворота хвою и лесную труху: «Надо ж нам было сразу идти прямо лесом, о бок дороги! Не додумались, дураки».

«Не додумались», – согласился Саня.

Идти меж больших деревьев было проще и безопасней, да и направление держать легче: нужно было просто держаться стены елового мелколесья, забившего всю дорогу. Ноги почти до колен проваливались в зеленую пену мха, тот сонно причмокивал и вздыхал, ласкающе и зазывно. Упасть на него, прилечь, казалось, нет большего удовольствия. Но стоило неудачно ступить на удлиненную моховую кочку, упавший когда-то ствол, и тут же провалиться по пояс в сырую серую гниль, как всякие мысли об отдыхе пропадали, и верилось, что секунда-другая, и эта же моховая кочка вдруг над тобой сомкнется, всколыхнется плотноядно.

Удушливый, гниlostный, прелый, снотворный дух туманил, мутил сознание, застилал зрение. Они плохо различали друг друга и все больше определяясь по звуку. Все чаще они останавливались, все больше прислушивались. С протяжным уханьем и приглушенным треском в глубинах леса без умолку что-то падало, рушилось и стонало – стопами то ли смерти, то ли рождения...

«Почудилось тебе, Саня. Какой тут может быть человек? Больно матерый уж лес. Толстомер. Да откуда страсть-то такая?»

«Погоди-ко», – перебил его Саня, вытянувшись вперед: «А там-то вона чего? Куча какая-то, а не то курган?»

Стена мелколесья теперь уже тоже заматерела. Торчащие между елок березы засохли и торчали, как белые жерди. И только осины еще не давали себя задушить, еще пробиваясь к солнцу сквозь темную хвойную хмарь. Под нею, под этой еловой хмарью, куда совсем не проникал свет, громоздилось нечто объемное, немалых размеров, засыпанное лесною трухой...

«Мать честная, машина ведь!» охнул Саня, когда они пробрались поближе. «Его! Круглова! С лебедкой! Ну-ко ты, как соржавела-то, как соржавела!.. В землю-то как ушла, как ушла-то!..»

Машина более походила на гигантский развороченный муравейник среди частогокола засохшего умирающего подлеска. То, что было будкой в кузове, теперь прогнило и провалилось вовнутрь. Но кабина еще сохраняла форму, на крыше еще держались тяжелые напластования хвои, листьев и полусгнивших, покрытых белой плесенью веток, на дверцах бурым лишайным пятном мохнатились ржавчина. Дверца со стороны пассажира была приоткрыта, молочно серело наполовину опущенное стекло, но мох уже пробрался в кабину и впитался в ломкую ружизну пружин, еще оставшихся от сидения. Капот над мотором был поднят, оттуда наружу юркнуло нечто мелко-зверьковое, бурундучье.

«Ёть-тё-тё!» – только и в силах был выдавить из себя Саня, а помлесничего-Геня и вовсе потерял речь, одолеваем какой-то мокротной хлюпающей икотой.

Им понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя, отереть пот. Сами того не чувствуя, они прижимались друг к другу, поводя вокруг стволами двустволок. Потом еще раз заглянули в кабину. Никого. Ничего. Ничего и от человека.

Наконец, они разомкнулись и начали с двух сторон обходить машину.

Гене сразу не повезло: огибая костистый, рыбий, скелет упавшего дерева, он наткнулся на молодой ельник и долго боролся с ним, а, протиснувшись, вышел к звериной тропе, и довольно протоптанной, на дне ее стояла черная жижа. Тропа как будто возвращала его обратно к машине, во всяком случае по касательной, и он охотно прошел по ней, казалось, всего-то несколько метров, как внезапно от дерева отделилось какое-то лохматое существо, беззвучно ощерив пасть и вытянув в его направлении когтистые лапы...

«Гы-х-гха-гхы... Ге-е!.. Ге-е-е!..»

Геня обмер, на секунду окаменел, но тут же подкинул стволы и стал судорожно хвататься пальцами за спусковой крючок, да только все время что-то мешало, что-то цеплялось за оградительную скобу, царапало по металлу, гнулось, ломалось...

Выстрела так и не получилось. К счастью.

Неизвестно, сколько минут они стояли друг против друга, так и не обретя способности говорить, но медленно признавая в себе людей.

Неизвестно, сколько раз они подносили к лицу свои руки с такими длинными, чуть не в палец длиной, ногтями, сколько раз зажмуривали глаза и тыльной стороной ладони пытались определить длину и густоты бороды. «Неужели она у меня такая же, как у него?»

Гулкий раскатистый треск совсем рядом, в комле перестоявшей свой век осины, затем протяжный, шумный вздох в вышине – заставили их бежать от рушащегося дерева. Чудом они выскочили к машине, а оттуда побежали назад, вдоль стены молодого ельника, все надеясь найти следы, совсем недавние собственные следы, и не находя их. Уже.

Лай Вермута вывел их на дорогу.

Солнце вскарабкалось – желтый бесстрастный круг, лишенный какого бы то ни было ореола. Круг испускал тепло не тепло, а какую-то мелкую дробную духоту, ощущаемую даже под кожей. Градька сидел рядом с Саней, на одной половой плахе, и чувствовал, что тот тоже дрожит изнутри, протягивая к живому огню сухие постаревшие руки.

– Я... – продолжал рассказывать Саня, – я еще раньше почувал, будто что щипет меня. В теле щипет, в ногах, особо в мысках. Думал, портянки того... Перемотаться хотел. Щипет и щипет, а потом оно, как в лес-то зашли, забылось. А ведь скажу, по-знакомому как-то щипало. Баба моя, еще о прошлую зиму, дура, печку купила эту в селпо... что на волнах.

– СВЧ? – подсказал Максим.

– Как это?

– Микроволновую?

– Да, точно микро. Только не больно и микро. Большая. В беремя не возьмешь, и тяжелая тоже. «Электроника» называется. Как телевизор у свекра. Ну, обмыть мы ее решили с Вальком-киномехаником. Соседко-то мой, да вы его знаете, Валька... А баба моя свининки с морозу нам принесла. Запеку сейчас, говорит, вам на пробу. Тут Валько и зачесал башку-то: как это так – чтобы без тепла, а пеклось. Он ведь, зараза, дурной, только дай покопаться в чем. Кнопоньку возле дверцы увидел и, значит, сообразил. «А чего, говорит, ежели руку туда засунуть, а кнопоньку придержать?» «А чего?» говорю, «дак суй». А он говорит, «мне кино крутить, давай ты». Туда-сюда, короче, я сунул. На спор, понятное дело: кто менее выдержит, тот и за бутылкой бежит. Сунул. Сперва ничего и потом ничего, а потом как защипет – едрить-то ты мой! Думал, честная-мать-богородица, совсем без руки останусь!...

Он покосился на мужиков. Эту историю все давно знали, а Севолодко при ином случае не преминул бы съехидничать: «Сано, Сано: ето – срано, пито – ссано!», но сейчас он ограничился кратким:

– Рукусуй! Чем только детей-то делал!

– Мешай-помешивай, сам косорукий, опять пригоришь!

Каша уже недовольно ворчала и чворкала, и ее недовольство почему-то подхватывал Севолодко. Мешая кашу оструганной палкой, он ворчал на всех сразу:

– Я вас вместе с вашим Кругловым! Трактор-от как теперь доставать? Утонет совсем. Бежать надо за подмогой.

– Вот и сбегаешь, косорукий! За рычаги надо было держаться, Севко, а не за это место, – скривился Саня.

– Я те дам это место! Я те дам! – замахнулся кашеварскою палкой Севолодко.

– Севко! – заорал Геня и, зашипев, снял с носа горячий шмак каши. Попробовал: – Ничего. Упрела.

– Дошла, – согласился с ним Саня, отпробовав уже с бороды.

– Съедобно, – поддакнул Максим, подцепив крупичку с ветровки.

Каша была по большому счету его, Максимова, коль скоро именно он одолжил крупы, но кашеварствовал Всеволод, а тот уже полчаса объявлял кашу «недошедшей». И Саня, от нечего делать, вновь продолжал свою мысль:

– Я это к чему? Там, в лесу-то, оно уж больно похоже щипало. Изнутри, от самой кости. Похоже уж больно, я говорю, мужики, а то бы чего поминать глупости. – И повернулся к Максиму. – Вы, знамо дело, ученей меня, должны понимать.

– СВЧ-излучение? Не похоже, – костяшками пальцев Максим потер пергаментное лицо.

– Похоже, я говорю, – обиделся Саня.

– Да, вероятно, вы правы. Конечно-конечно. Но только, чтобы накрыло такую большую площадь?.. Хотя, знаете, бывало. В Казахстане, под Джезказганом, случилось что-то подобное. Ошиблись в расчетах склонения излучателя над горизонтом и сожгли отару овец. Но здесь, очевидно, природа совсем другая...

Он посмотрел за реку, на дорогу, что уходила налево сразу от брода и скоро терялась в останках густо заросших ольшаником и крапивой изб. Прямо от них, на холм, поднималась прошлогодняя вырубка – будто неровно и наспех стриженный под машинку рукою пьяного старшины залохматившийся солдатский затылок, и где недоруб, островок обойденных пилой тонкомерных елок, торчал посредине как пук волос.

– Природа, – повторил Максим, – Природа явления, как вы понимаете, здесь другая. Судя по вам и вашим рассказам, это связано как-то со временем. И стоило бы подумать, как... Я бы рассуждал бы примерно в таком ключе: если будет доказано...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.